

Дворники

Юле Линде

Похолодало. Кончилось лето,
похолодели руки у мамы резко.
В лоб из фейсбука летит повестка
от родительского комитета.

«Значит, так, мамыши-папаши.
Раз вы на карандашные
подставки по две с половиной тыщи
не сдаете,
мы вам даем задание.
Задание для детей-идиотов
и вас, высоколобые нищие
неприкаянные, —

Собрать гербарий.

С каждого штук по триста листьев,
каждый прогладить по обе стороны.
И тогда, может, ваших дебилов не отчислят
за то,
что позорятся в одной школе
с мажорами».

И покорились родители детей-изгоев,
интеллигенция и нищелюбы,
и покорились, и вышли на дороженьку асфальтованную.
И не было скучно им:
кряхтя, нагибались они не за листьями,
а за Пушкиным,
Гойей
и каким-то там еще поэтом —
чуть-чуть с нищелюбами зарифмовывается.

Готово. Гербарий собран,
спасены дети — отбросы общества.
Полночи мамыши листья утюжили
вместо рубашки для ученого мужа.
Круги под глазами, Персен...
Листья отправились в школу со всеми почестями.

А дворники во дворе,
почти как родители
(а кто-то из их числа!),
неприкаянно-интеллигентные,
банки, бычки, ошметки газетные
с дороженьки асфальтованной вывезли.
Вывезли —
и увязли
в экзистенциальном кризисе.

Не было листьев. Ни одного.

...Уходят, уходят дворники.
Вслед за летом
уходят в ночь и в личностный кризис.
И сидят, и смеются где-то
в ворохе краденых листьев
мажорные
черные
вóроны.



белые геологи
под голой скатертью
головы теплые
с полки скатываются
головы ржавые
в раковине обсыхают
Гришка-вожатый
головы хаёт
Гришка-вожатый
в шортах с пальмами
орет на скатерть
ненормальные
тут же люди
а вы геологи
тут же люди
а у вас головы
катитесь в раковину
пусть заржавеют
живее дуйте
живей
живее



Было у тебя не чудетство, просится рифма не та.
Была у тебя густая болотная темнота.
Тебя считали тихоней, слабой, местами ку-ку,
а ты считала нормальным, когда дерутся по трезвяку.
Тебя считали стервой, ледышкой, вообще ханжой,
а ты всего лишь тряслась от руки чужой.
В десятом — прозрение: надо что-то менять.
Дошло-таки, прелесть, но как же оставить мать?
Так и жила, клеем латая картонный щит,
в конце концов выкинула: вряд ли переборщит.
Так и тянула иглы из слабой груди,
яд выводила — без него пусто, поди.
— Эй, чего грустная? Ну-ка, держись там!
Лишь бы. Лишь бы не. Лишь бы не стать садистом.

...Выросла. Вышла. Оставила не за спиной.
Оставила там, в парадигме какой-то иной.
Молчишь. Не от жалости к извергам-упырям.
Просто ты знаешь, что тебе скажут.
Ну прям!
Ты такая спокойная, будто в теплице росла.
Ты что, прозаик, не можешь без вымысла?

И появился он. Секунда глаза в глаза.
И вы понимаете оба. Что за...?
У вас одно прошлое на двоих.
Но ты спокойна.
Он — псих.

Путь человека все же тернист и неисповедим.
А может, он просто не смог создать себе парадигм.

И он, с ядом, с иглами, видит в тебе врага.
Солидарность? С иглами? С ядом?
Ага!

И он нападает. А ты слышишь сдавленный смех.
Ты стала сильной, но не для всех.

А тебе все вокруг: забей, он не виноват,
посмотри на него, он же неадекват.
Тяжко ему приходилось наверняка.
Тебе не понять, мелкая ты пока.

Было у тебя не чудетство, просится рифма не та.
Была у тебя густая болотная темнота.
Тебя считали тихоней, слабой, местами ку-ку,
а ты считала нормальным, когда дерутся по трезвяку.
Эй, чего грустная? Ну-ка держись там!
Лишь бы.
Лишь бы не.
Лишь бы не стать садистом...



Обычно мы спим под разными одеялами.
Так свободнее.
Но, когда тебя нет,
я накрываюсь двумя:
твоим и сверху моим.
Иначе холодно.



На большой строгинской пойме
рубят тучи топором,
рубят черным топором,
чтобы выложить бордюр.

На большом трамвайном круге
разгоняют шумный лес,
гонят, гонят шумный лес.
Тут забор. Пошел ты на.

У серебряного бора
вырезают кислород,
вилкой режут кислород.
Нужно место под кафе.

На районе из рогатки
убивают водоем.
Убивают из рогатки,
из березовой рогатки,
из березы из убитой
убивают, убивают,
застрелили водоем.
Перестал дышать район.



Аня пишет в ночи преподу биологии.
— Тимур Адылевич, я передумала стать врачом.
Нет, вы учитель от бога,
и вы ни при чем.
Просто другие у меня теперь ценности.
Не бабское это дело —
крест кровавый нести.
Я стану моделью,
вот где мой крест, мой флаг, мой бич.
Перегорела я, Тимур Адылевич.

Ответ пришел в шесть утра:

— В смысле?!

— В прямом.

Я не хочу окружать себя колбами

и прочим дерьмом.

Пора

на подиум, а потом

стану женой олигарха.

Отсужу детей, квартиру и выгоню нахер.

Жить буду на алименты, а годам к сорока

выйду за дряхлого старика.

Откинется через пару лет — мне наследство.

Ну и два сына будут меня содержать...

под конец-то.

Тимур Адылевич снял очки.

Перед глазами его безочковыми

вся жизнь пронеслась и распалась на атомы.

Все то,

ради чего он жвачки

клеил на парты совковые,

ради чего крыл белый свет черным матом —

единственный смысл

видел он в гениальной девятикласснице,

той, что могла спасти человечество,

той, что готовил он в Первый мед.

Руки трясутся.

— Ань, ты серьезно?

— Нет.

Коридор

Повесть в стихах

Выходные Женька не любит.

Выходные лезвиями лязгают, железом жмут.

Будни — детское одеяло: тепло, но мало.

Выходные — труба, капкан, хомут.

...А ведь она когда-то не понимала.

А ведь непонимание может греть.

Тепло вырубают весной — бюрократия,

и будет лед.

А пока —

прутья детской кровати.

«Я так люблю их обоих,

зачем он бьет?»

*

Женьке семнадцать.

- Жень, ты куда?
- В магаз.
- Зачем?
- Тетрадки кончились.
- Потом?
- Потом гулять.
- Так ты ж ходила!
- Вчерась!
- Не твое дело.

Хрясь.

Губа не дура,
губа не руки, не ноги, даже не глаза.
Но — все: ты не волен постоять за.
Вот это, кстати, можно и без пробела:
неволен, безволен и слаб.

И все же фонит в безмозглой башке припевом:
«Я тоже люблю тебя, пап».

*

Женьке десять.

Он только что кончил орать и ушел куда-то.
На мамином плече —
черные отпечатки,
ветвятся все дальше,
далеко за плечом.
Плачет.
— Я не могу, я разведусь или окно открою.
Закройте потом.

Женька — напополам.
Вдвое,
надвое,
насмерть.

— Мама, не надо!

Не развелась мать.

*

«Прошлое —
сколько было в нем хорошего!»
Нет, Женьку воротит от таких пошлых слов.
Это всего-навсего перевод песни Битлов.

А как там у другого классика? Прогнило что-то?
Так тут главный вопрос — не «что», а «когда».

Евгеше три года.
Они с мамой хотят завести кота.

— Пап,
ты почему не хочешь, а?
Это же нос, это же лапы,
это же кошечка.

Три года — не семнадцать.
Перед трехлеткой так просто сдаться.
Кот Панталон проживет у них много лет,
и папа не тронет его, нет, конечно же, нет.

Каждый вечер играют — она к папе на шею,
каждый вечер — новое прозвище.

— Спокойной ночи, фея.
— Спокойной ночи, сиреневый цветок.
— Пап, почему сиреневый?
— А просто так.

И вот прямо как у Толстого:
руки, детство,
лампада.

А лет через семь —

«Мам, не надо разводиться,
не надо...»

*

Как приходит на свет чудовище?
Это сложный вопрос. Философский.
Наверняка было там что-то давящее.
Ложь. Страх.
Засов. Тиски.

Как приходит, и главное — что было до́ него?
Жил ведь на месте чудовища человек.
Или была там уже...
личинка? лишай? червяк?
Черт разберет.
Душа-то бездонная.

И приходит оно предательски-суверенно,
неприкаянно-подло, упрямо, сука,
жиром с кровью растет уверенно
и как бы в отдельности от рассудка.

Так что же делать, если/когда
чудовище
душит и рушит этому человеку близких?
Прочь уйти.
Жестко, да,
но чуда не будет. Вообще.
Прочь.
Сбросить тиски.

*

Познакомились они неинтересно, в пене дней,
где-то между парами и очередями в кафешке —
институты рядом.

Не красавец он, Саня.
Невысокий, реактивный, глазастый,
с сухими ладонями
и ранними морщинками вокруг рта.
Похож на ящерку.
Они встречаются на полчаса после пар.
— Ну что ты смотришь на меня как на врага народа?
Серые глаза близко. Сливаются в один.
— Дальнозоркость у меня.
Женьке не хочется рассказывать.
Она обобщает, упаковывает стыдливо
в эвфемизмы.
Не потому, что нет у нее доверия.
Ей не хочется пятнать их встреч.
Одно все-таки объяснить надо.
То самое, про врага народа.
Ее тянет к этим глазам, ресницам,
морщинкам, сухим ладоням.
К плечам и ключицам.
Но — духота.

Она потеряла умение
Различать,
какая разница,
ну какая разница:
бьет тебя рука
или ласкает.
Какая разница? Духота.

Он не спешит. Понятлив.
Серьезен.
— Привыкай, что ли.

*

Она уехала из СЗАО-Мск
горьким ноябрьским днем

на порог съемной квартиры.
Тетя Клава сказала:
только, мол, все чтоб было законно.
Тетя Клава не злая, просто религиозная.
Заявление подали в загсе, который внизу рыжей ветки,
тем же
горьким ноябрьским днем.

*

Подавать заявления нынче в моде.
Мама тоже подала —
но у нее заявление о разводе.
Перестала бояться.
Женька, и ты не бойся отца.

Бойся другого: что будет больно.
В конце коридора всегда яркий
болючий
свет.
Вру: вообще-то далеко не всегда.
Но если да —
это лучше,
чем если нет.

*

Видятся они только по ночам.
Институт, работа и, наконец, —
греться к усталым плечам.
Поцелуй, обои, газовая плита.
Пужинают и смотрят кино с ноута.

Иногда на работах берут отгул и пары прогуливают.
Бледные лица, глаза большие —
скорей от счастья, чем от голода.
Читают на кухне Веллера и снова целуются.
И почти не видно и не слышно...

Почти не видно и не слышно отца.
Но он как будто тут, за мутным стеклом.
У Сани всегда наготове
лом.

*

«Ты даже не знаешь, чем я дышу...»
Женька не знает, кто и что она. Чем дышит.
Есть у нее лишь догадка —
про Саню.
Разными, разными, разными они вырастут.
Сейчас именно растут вместе.

У Женьки — кофе, драматургия, Достоевский.
У Сани — юриспруденция, «Метро» и чай с сахаром.
Оба — чистые листы,
но не белые. Не о том.
И каждый со своим не белым листом.
У Женьки — скандалы, драки.
У Сани — бедность и детство в бараке.
С не белым листом проще.
С не белым листом знаешь цену
выхода из тьмы.
Цену свободе, счастьем и слову «мы».

*

Женька едет в СЗАО-Мск.
Она не может иначе — пока.
Если отбросить иллюзии, полетишь булыжником вниз.
Женя не хочет булыжником.
Женя, держись.

— Привет.
— Привет.

Гуляют как ни в чем не бывало.
Как отец и дочка.
Нормально, Женька, нормально все.
Точка.
Вы гуляете, а значит, нормально все.
На горизонте синева,
горизонт разваливается.

Вся жизнь,
а точнее, слова —

*спокойной ночи, пап,
слаб человек, слаб,
я так люблю их обоих,
Жень, ты куда,
в магаз,
а сейчас*

*будет больно,
Жень, будет больно*

— вон той бегущей строкой горизонта
проносятся перед ней.
Она не боится. Ей уже не будет больней.

Он не отец, а ты не дочка.
Вот оно. Вот где точка.

«Все, пора. И да поможет мне бог».

Вдох.

— Знаешь, пап, а ведь я не боюсь тебя.

А когда-то еще и любила.

Всю любовь ты высушил, выкрошил,
выскреб.

Этими вот руками.

Сейчас мне все равно

вообще —

умер ты, жив ты.

Не звони, не пиши.

Прощай.

Амен.

Разворачивается. Шатко и пусто в груди.

В голове так же, и только небо гудит.

Вверх по склону —

автобус-экспресс до центра, номер четыре-девятьсот.

Потом еще экспресс, до Академической, центра от.

Свежо не только в СЗАО, свежо везде — хоть простынь.

Фонари, стройка, хмельная прозрачная синь.

Звонок. На экране — «Дом».

Милый Саня. Больше не нужен лом.

— Когда будешь?

— Скоро. Целую. Скоро...

Женя, держись.

Нет больше коридора.

Есть жизнь.

